

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

Сокровенный человек



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

Текст печатается по изданию:

Андрей Платонов. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 1. М. 1998. Стр. 457-512

© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания. — Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч, — путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут.

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно, начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу, — и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы, — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развевалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое — не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в шестнадцать часов, а сейчас часов двенадцать еще можно поспать, что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пение вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

— Глаша! — жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего, — ответит, бывало, Фома Егорыч, — это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вот они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь: до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но отчего — он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

* Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф. Е. Пухову и тов. Тольскому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля. (Прим. автора.).

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

«Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной Армии.

Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин. Комиссар путей сообщения Ю.-З. ж. д. Дубанин».

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту. — Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит, — ответил машинист. — Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунок казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов. — А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз — и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, приликая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то, что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая душевные мысли.

— Пару мало! Пошуруй топку и просифонь, чтоб баланец* загремел, — тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего а? — ответил Пухов. — Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь.

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запушенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер, — предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью, — уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос. — А то выпей — согреться! Хочешь, рыбы принесу покушаешь?

* Баланс — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле. (Прим. автора.)

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос. — Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко, — а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос. — Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилося и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманию два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос. — Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепуховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына в Лиски, — а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая щит то вниз, то вверх, забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблоч бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов. — Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок-пассажир. — Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов. — Сельдь бы он покушал! Будто без него съест ее некому!

— А я, — встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный, — на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел — жирен был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один и был — откуда теперь петухи?

— Что ж тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из-за стола, будто на двор захотел, — мужики часто ходят, — и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира. — Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру.

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту, — сказал сведущий Пухов. — Слезай, пока на подъем прём!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит, — жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов. — Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов. — Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться, — а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лискаами, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведущий головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с прищипленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление, — и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу.

Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что, — обратился он к Пухову, — как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов. — Помощник только твой убится, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно, — сказал машинист. — Положи-ка мне хлебца на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд в человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем, — успокоил Зворычный. — Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь, — согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными глазами. — Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казачи вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о! — захрипел офицер. — Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов. — Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневоза и обернулся, дожидая стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое, потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверно, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казачи сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд. — Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы, — и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав сажень на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня. Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

Плакаты были разные. Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змея, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя; кресты на ризе Георгия Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая, и из-под звезд виднелись опять-таки кресты.

Это Пухова удручало. Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость, хотя к ней был мало причастен.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — закричал Пухов. — Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии.
Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!

— Вот это сурьезно! — расценивал Пухов. — Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшеленом? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается, — полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком, — все едино лупить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники. — Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники. — Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю. — Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов. — Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета-IX на всех ж.-д. узловых станциях Условия службы узнайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному. — Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегоочистке делать нечего — весна уж в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов. — Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, што делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный. — Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов. — Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю, — не поддавался Зворычный, — мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов. — Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный. — Кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете, — вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать, — чувство понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов. — В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему же такое? — спрашивали его мастерские люди. — Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов. — Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастерские.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

...Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов. — Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов. — Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор. — Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии. — Ну, а что вы знаете про судходство?

— Судходство бывает тяжелше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.

— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар, — ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен, — и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера, — объяснял Пухов, — а наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная Армия все может! — отвечали Пухову матросы. — Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов. — А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной, — рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна, — я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь провода какие-то, меляшки... путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый, подует днем, а ночью тишина. А тут — дует, дует и дует, — что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра непустишь машину, я тебя в море без корабля пушу, копуша, черт!

— Ладно, я пушу эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машину, удалил зазорные части и поставил простые — и к утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь, — сказал Пухов, — как черт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пущу? — ответил Пухов. — Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно, — сказал довольный комиссар. — Знай, что керосину у нас мало — береги!

— Мне его не пить — сколько есть, столько будет, — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше, — сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не советскую власть, а всю природу учреждать надо, — ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего они людей шуруют? — думал Пухов. — Какая такая гроза от этих шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет», — скорбел, читая, Пухов.

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробойну заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов. — Я же вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемалья-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел, — говорил он красноармейцам, — что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъяряли красноармейцы. — Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался.

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов, — обратился командир отряда, — вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал к сторонке.

Стояла ночь — и огромная тьма, — и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь. Один красноармеец загремел винтовкой, — его враз угомонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским, — вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того, я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко — пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись, — ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело, — думал он, — вот она, большевистская война, — нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнейшее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо советской власти, — вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад, — вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми, — без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире, которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек, — и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч, — мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов, — хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ комиссар, назначить меня механиком на «Шаню», — там, я слышал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» там есть свой механик — турок! — сказал комиссар. — Ну, ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не сладишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина, — сами видите!

— Ну, ладно, — согласился комиссар, — поедешь на «Шане», раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню» — машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо, — хорошо по-русски сказал турок, — масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, тот есть механик!

— Ну, понятно, — обрадовался Пухов, — машина любит конюха, а не наездника. Она живое существо!

На том они и подружились.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь, — тихо ответил красноармеец Баронов, — затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей, — и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — военморов.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней, — не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем, — и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море, — он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отделилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда, — и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме, — все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдаль — в открытом море — уже шевелились грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу «Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста заглодало, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезли на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло, — он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, сиюсь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял, — кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуше, а то враз заперешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромошу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым, изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо, — сказал комиссар. — Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так, — объяснил комиссар. — Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали? — допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась, какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море по-прежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь потом у бесившейся машины и страдая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы обхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались — как и что, а тоже высыпали на палубу и заматались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускаться ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения, — их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели, — наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец. — Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар. — У него пушки на борту!

— А вот увидишь, — заявил тамбовец, — из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажали глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал их голоса, и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара. — Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно быть, течь у них, — ответил комиссар, — надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще послышалась с «Марса» гармоника — кто-то там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко
Несоленое,
В море Черное
Уроненное...

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку! — крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз! — заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» вздрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как попало вниз — на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему не понравилось.

— Легче! — шумел он. — На Врангеля шли, черти, а чистой воды бояться!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко зануло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось — никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук — и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит, — посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск, — говорил командир разведки матрос Шариков, — а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же, — все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл, — сказал ему военный комиссар, — что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал, — тоже, должно, купается, — а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков. — Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось по-прежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то? — урезонивал их Пухов. — Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего, — говорил недовольный матрос Шариков, — вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты — рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции? — совестил его Шариков. — Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков, — объяснил Пухов, — да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков. — Я вот родился до революции — и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар. — Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец. — Тут бы Врангеля и крыть в зад — ведь он на корабли бежит, а тут отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!.. — начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов. — Пускай Врангель плывет, — другого кого-нибудь избузуюшь!

— Эх!.. — крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив! — посоветовал ему Пухов. — Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то, — сказал было Шариков, но потом одумался: — Вода только холодна, да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погодку! — рассказывал Пухов. — А воздух в подштанники надуеть, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков. — На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора, — одними идеями одеваемся, а порток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов. — Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар. — Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов. — Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар. — Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю, — согласился Пухов. — Там — задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

— А то кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать-то мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов. — А мастерство — нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать провожа-ала,
На дорогу сухих корок собира-ала!

— Вот дьяволы! — заявил Пухов. — В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и

угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин, — и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «Ввиду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию «Всемирный Совет» болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный Всадник» пустить в ход можно сразу, если сменить им разможенные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немислимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов. — А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормозил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удивление. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханьем землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал пожелтый сюртук скуки и надлежало копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальству не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске, — и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности, — Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почувал — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское

беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти, — я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели, — разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят, — не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс, — советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо, — рассуждал Пухов, — а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, — только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? — разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжело вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл ему Пухов. — А для умственной работы ряжка толста. Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов. — Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спускает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков. — Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков. — Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще, — обиделся Пухов. — Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь. — Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно! — ответил на прощанье Шариков и написал на хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

4

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало — почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облекая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия, — и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почем там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия Креста? Матросы говорили, что видели? — допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету, — там дюже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов. — Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел, — может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножики нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну, как, не пахнет? — спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько! — говорил Пухов. — Да тут не дознаешься: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не взгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это, любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой. — Плынешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы, — а скучно!

Голоддо того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, и возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всему напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то пели петухи в четыре часа пополудни, — один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пуши! — нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то старинное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню. — Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу — там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили, — вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумела как вода, и Пухов почувствовал себя безродным, заблудившимся человеком.

Механик или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо. — Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека. — Едет, и мы с ним.

5

Всю ночь шел поезд, — гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка и вразброд стояли худые смиренные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью, — чтобы зря не пропадала их одежда.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупой и прочно заготавливает впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и устался в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня. — Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь, — ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок. — Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознался? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъярил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост, — и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно, — ответил мужик. — Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Это город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста уgomонили!

— А тут — не знаешь, товарищ, — меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший порожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ «МАК-КОРМИК».
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО «САМОЛЕТ».
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ «ИОХИМ И К°».
ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ «ГЕЙЛЬМАН и С-я»,

— и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угольным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Ты что? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажки и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные невероятной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — все видели и вынесли паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер!.. — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар. — Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали?

— Ничего, — где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный. — У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина большая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А, ну, я не знал! — смутился Афонин. — Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный. — Ну, чем помочь? Брехать только! Хлеба ему дать — так нам самим пайки в урез дают, — даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов, — я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч, — кормимся спрехвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов. — Почва есть, а хлеба нету, значит, — дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный. — А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов. — Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою, — пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов. — Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так, — революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей — хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный. — Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — покуривал натошак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родин ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез, — сообразил Пухов. — Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отравка, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут, — а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя на хлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записался!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай — все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь. — Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему. — Паек берешь — паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

...Прожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Чего ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтобы еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все сижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, говорит, безвременно прибыл? Я ему — проголодался, говорю, и уголь весь прогорел. Он мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушь противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов. — По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит — молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал — спрашивает — противника? А я ему: нет там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел. — Не может — говорит — быть! — Ну вот — опять же — не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не

хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменить в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

...Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело, и жизнь для него протухала.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю, — не согласился Пухов, — твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный. — Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что наградил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим, — вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов. — Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе!

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный. — Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь, — и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют, — сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету — какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный — когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пуцают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рощу — там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне

за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издали била по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный барак на путях. Мастеровых от белых отделяли речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов. — Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел — часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых — не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Любославский наскочил — у него конницы — тьма.

— А чего ж мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой. — Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел — и крошит нас помаленьку.

— Что же будешь делать-то: надо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чуть какая: смерть не защита! — окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, казалось, не имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время. Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам. Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на сигарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков приник к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей... — сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели вlepялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять, — кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию — пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончил Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага, — вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов. — А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин. — Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды по-прежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженный балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет, — куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим — и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где, — вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут, — никак не соглашался Зворычный. — Броневик на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост...
— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня, — думал Афонин, — наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну как, десять груженных платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варезкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такую скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновение в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше средоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проницало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афоным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религии.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых. — Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга, — значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупам — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего потом матроса, обменявшего свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

8

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правил движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный. — У тебя всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо!

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали.

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный. — Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского, — а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их, не знаю, что ль? Это люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно уgomонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

...Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов. — Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: перекрошил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогриваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все: про песчаный десант, разбивший белый броненосец с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдаль от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

«Адресату морскому матросу Шарикову.
В Баку — на Каспийскую флотилию».

Целую ночь от отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник. — У тебя простое письмо!

— Из ящичков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник. — Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы, — ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что же ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить, — я и из книг все узнаю! — разъярялся Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее, — писал Шариков, — на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан, — что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осласчастливленный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

9

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, на тебе талон на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову. — А ты тут целую подоплюку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие, — ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался, — подумал Пухов. — Не своим умом живет: скоро все на свете организовывать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: тогда социальная идеология была не развита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На, черт! Если спекульнешь — на волю пушу! Пролетариат — честный предмет! — И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? — Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? — Наши, мы их сделали. Что такое природа? — Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие: кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, невероятной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза, — нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко преодолевая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напряглись над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.